

На конкурс к 70-летию Кежемского района

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Официальные данные по истории района я излагал в "СП" не раз, начиная с 1965 года я связываю с 300-летием Кежмы. Сейчас я хочу отразить свои личные впечатления от первых десяти лет района, а следовательно – детских, дать свои приметы того времени и значит, приоткрыть несколько живых его страниц.
А. КАРНАУХОВ.

I. колхозы

Самое первое впечатление – сенокос. Я почему-то оказался на Учемках – не наша бригада (а может, бригад еще не было?). Был завтрак или обед. На траве сидят кружком человек восемь. Все с ложками. В центре круга огромная чашка со сметаной. Черпаем. И мысль: "Как хорошо в колхозе-то! Сметану – и ложкой! Дома этого никогда не было". Из этих людей помню Михаила по прозвищу Шило, знаменитого охотника, брата еще более знаменитой Анны Зыряновой – вечной ударницы и стахановки. Второе. Филимоша (так называли его мои родители, а это Филимон Лазаревич Брюханов), "философ", добрый друг нашей семьи, ведет разговор с кем-то. Этот "кто-то" рассказывает, что какая-то учительница вышла замуж за колхозника. В ту пору учитель –высота высоченная. И вдруг – за колхозника. Филимон, упрямая возможное осуждение, говорит: "Это ничего, что учительница –за колхозника. Главное, чтоб человек был". А кто-то из молодых съязвил: "Дядюшка Филимон, какой же он человек, если он колхозник?". Тот нахмурился, укоризненно покачал головой: "Нехорошо так говорить – себя унижать. Чем мы хуже других

В колхозе нравилось: все вместе, всегда много людей, разговоров, шуток, смеха, есть кого послушать. Кроме Филимона, любил порассуждать о высоком Николай Филюшкиных: он читал газету, а потому знал больше других. Николай – брат Михаила Журавлева, который много лет работал бригадиром четвертой бригады, где была и наша семья. Это был исключительно порядочный человек, прекрасный организатор, и недаром наша бригада с первых лет колхоза всех чаще и дольше "летала на самолете" (на доске соревнований для лучших, передовых был нарисован самолет, а для отстающих – черепаха).

Мне было 8–10 лет, когда он приходил к нам на расшее (часа в четыре утра), будил меня (я спал на полу, прямо против двери), чтобы мне куда-то ехать, и я, заспанный так, что долго не мог открыть глаза – так веки слиплись, все-таки быстро вставал, полусонный одевался и шел, делал все, что он мне велел. Я его любил даже в это раннее, недетское время. И не потому, что не мог отказать его просьбе, а-принимал это с радостью, чтобы ему сделать приятное и чтобы он не смог меня за что-то осудить.

Больше всего нравился сенокос: лето, косьба на островах –кругом река, зеленая трава, березняк, ягодники (черемуха, смородина), любимые наши кони, а главное много людей: и те, кто косил траву на сенокосилках, и те, кто ставил зароды, и те, кто греб сено на конных гребилках, и мы, детвора-копновозы.

В то время мы, десятилетние, по утрам, пока роса, косили траву "детскими" литовками в кулигах, чтоб не бездельничали, а помогали взрослым.

Днем, в самую жару, во время обеда, и вечером, после работы, купались в Ангаре до изнеможения и пресыщения, хотя Ангарой никогда невозможно пресытиться...

Нравилась молотьба. Огромная, высокая и длинная, молотилка, грозно и весело гудит барабан; люди, как муравьи в муравейнике; одни подбрасывают снопы к молотилке, другие кидают их на стол, третьи разрезают вязки, растрясая снопы, там их подхватывает Иван Никонович и кидает в огромную пасть машины. Бесперывный шум, суетня, молодежь успевает пошутить, повозиться, побороться; пищат, взвизгивают девчата, и – вдруг тишина, и тоже – блаженство.

Помню радостное событие: творец, инженер, "хозяин" паровой мельницы Андрей Нестерович дал в избы свет – загорелась лампочка Ильича.

Иногда, днем или вечерком, кто-то на лошади подъезжал к окну нашего дома, стучал в раму кнутовищем и кричал: "С появлением огня – на колхозное собрание!". Часов не было, и это был точный ориентир. И мы, ребятня, тоже бежали к колхозной конторе слушать. Что будут обсуждать. Удивлялись, что председатель колхоза Игнатий Самара или, позднее, Ше-

станов Степан говорил перед всем собранием долго и складно.

Большинство крестьян были неграмотны, а к книгам, к грамотным, к учителям относились с большим почтением, говорили о них с доброй завистью: "Счастливей человек – грамотный! А мы – люди темные. Что чурки с глазами!". Так говорила мама и преодолела все, кажется, абсолютно непреодолимые трудности, чтобы дать нам, детям, образование и добилась своего. О чем мы с братом будем помнить до гроба.

Помню, в году 37-м, я привез на сенокос (на Большой остров) роман А. Толстого "Петр Первый". Папа заставил меня читать книгу вслух вечером в юрте. Юрта большая, спали в ней человек двадцать. Я начал читать. Полная тишина. Ни один пацан не смел пикнуть, а кто уснул (намаялся за длинный день), того будили, чтобы не только не храпел, но и не сопел шибко. И так несколько вечеров. Язык романа мужикам близок – простой, народный. Много было вопросов на второй день: А что такое...?", "Ну-ка объясни мне. Я чувствовал себя в центре внимания, и отец молча этим гордился.

Что-то в колхозе и не понравилось. Вдруг отобрали у меня моего любимого Гнедка: увели в колхоз. Я плакал. (Мне четыре года – а я уже на нем ездил). Видел его редко, но когда мы встречались, оба радовались друг другу. Чуть не со слезами я старался его приласкать, чем-то угостить. Он отвечал лаской – терся об меня мордой (как не хочется употреблять это слово!) Что я, ребенок? Каждый взрослый, самостоятельный, стремился подкормить свою лошадь, которая уже была колхозной, работать именно на ней, на своей: он мог ее пожалеть, дать ей отдохнуть. А чужой кто пожалеет?

Очень жалко было коней, когда их клеймили. Я видел, как вздрагивал конь, когда горячий металл прижимали к шкуре. Пахло мясом. Все лошади были частными, каждый хозяин знал свою, а их свели в два колхоза» Надо было их чем-то отличать. Клеймо наше "З. И." – "Заветы Ильича", клеймо Заречки "КП" – "Красный пахарь".

Помню, мама ушла на работу в колхоз, я остался дома один. Стоял на подоконнике (окна были маленькими, значит, мне было года четыре), рыдал и все повторял: "Мама ушла и с иголкой) Мама ушла колхоз и с иголкой! ". По-вашему правильно: с голком, т. е. совсем, надолго.

Колхозная работа сразу оторвала матерей от детей на полный день.

Правда, с первых лет были организованы ясли, но всю эту проблему они не могли решить никогда. Работа в колхозе – не 7–8–часовой рабочий день с обязательным перерывом на обед: она поглощала работника целиком – на весь световой день, а то и дольше. Если не было бабушки – дети брошены. Потому наедались дерьма, вплоть до г..., заикались от испуга, выпадали из окон, как, например, я, росли, как сорняки в поле.

Тогда колхозники, жадные до дела работали в колхозе на совесть, от желания сердца. Они разучились работать в конце войны и когда ее уже не было: у колхозов, а значит, и у колхозников, забирали последнее зерно – у ленивых и трудолюбивых, передовых и отстающих. Труд потерял смысл: не оплачивался. У служащих – легкая работа, короткий рабочий день, выходные, твердая зарплата, а у колхозников – нескончаемый тяжелый труд – и гроши. Родители и говорили своим детям: "Уезжайте куда–нибудь, а то будете весь, свой век в колхозе ни за что мантулить", ибо сами были в положении крепостных, не было у них даже Юрьева Дня.

Наш колхоз по благосостоянию был середняком. Понемногу доставалось хлеба и денег. Но выдавались хорошие годы, когда трудодень оплачивался хорошо. Перед войной (тут я выхожу за рамки десятилетия) колхозники в "Заветах Ильича" получили столько хлеба, что его не знали куда деть. Вот тогда и мы приоделись и приобрели что–то необычное. Мне, например, купили настоящие фабричные лыжи.

2 ШКОЛА

Я В ПЕРВОМ КЛАССЕ Образцовой школы (это на углу против раймага, детсад). Мое место за первой партой. Впрочем, это совсем не парта, а длинный низкий стол, за которым нас человек восемь. Прошло 65 лет, но я помню, кто сидел рядом со мной. Это Коля Абакар из Заречки, Миша Лягуша (жил по Зверевскому переулку), Людмила Мишкиных (Людмила Афанасьевна Брюханова – Рахимова). Ученики очень заметно отличаются по возрасту. Как не отличаться, если одним было по семь лет, а другим – по восемь–десять и даже 11 лет? Иные родители отдавали детей в школу позднее, т. к. остерегались – к добру ли безбожная грамота? Некоторые ребята сидели в одном классе по три года. А Ваня Лыма и Крюгер Адель – аж целых четыре! А ведь стали вполне стоящими, умными, порядочными и работающими людьми.

В этой школе мы и учились, и трудом занимались. Всегда была толчея, теснота при ремонте парт, изготовлении табуреток. Школа в первые годы была именно трудовой. Все время мы что–то ладили, пилили, строгали – это нравилось больше чем заниматься тетрадями и сидеть по целому часу за столом.

Сумок школьных, конечно, не было. Шили ситцевые, сатиновые, холщовые сумки, как кошель, с ляжками (через одно плечо). Увлеченные трудовыми успехами, мы с братом Анатолием сколотили ящики, под них подвели полозья. Ящики широкие, в каждом по одной–две книжки, две–три тетради. Ящик падал, все вываливалось, мы собирали «багаж», сбрасывали опять в ящик и двигались дальше. Ясно, что «пособия» были в самом плачевном состоянии, зато какая техника!

По своему возрасту (самый младший в классе) и росту я был довольно сильным парнишкой (брат не даст соврать). Своего старшего брата под провоцирующие крики сверстников легко побарывал. Так вот, однажды в третьем классе учительница меня выгоняла из класса за какую–то

провинность и не могла выгнать – не стал выходить и все: считал, что несправедливо. Вцепился в парту мертвой хваткой – ребята не могли меня от нее оторвать. Так они меня вынесли в коридор вместе с партией. Юмор и тогда был в цене!

Начал я учиться хорошо (потому и в Образцовой). Азбуку, стихи усвоил от брата до школы. Все давалось легко. Учился с удовольствием. Но поняв, что все знаю, запустил задания, вел себя на уроках непоседливо, потому вскоре скатился на "уды" – удовлетворительные оценки. (По-моему, оценка «посредственно», что существовала несколько лет, точнее отражала действительно посредственные, скудные знания, однако эту посредственность, которая общество никак удовлетворить не может, скрыли под удобным словом «удовлетворительно»).

Помню, в школе ставилась сценка в лицах и диалогах, и меня изобразили рыбаком с удилищем: я удил отметки и добывал уды, на которые сам же попадался. И меня в третьем классе изгнали в ШКМ, школу колхозной молодежи, которая стала потом моей родной навеки Кежемской средней школой.

Мы учились сами и учили взрослых – занимались ликбезом. Мой отец до советской власти окончил один класс. Мы его грамотешку подновили, он стал самостоятельно писать, позднее писал нам письма. Маму же мы так и не сумели научить грамоте. Слоги складывала, а слова не получались. Выходило смешно, и она закатывалась от смеха над собой и над сыновьями, нисколько не сожалея о неудачах. Так же было и у Кости, моего двоюродного брата – Карнаухова Константина Сергеевича. Обучает он чтению свою мать Пелагею Христофоровну. Она читает по слогам слово «рама: ры-а мы а», «ры-а мы а», а слово получить не может. Слева же от слова в книге рама нарисована. Она произносит опять: «ры-а мы-а», а сама смотрит на кар тинку и вдруг радостно восклицает: «Окошко!». И хохочет, довольная. Заливается смехом и «учитель». А слово «фонарь» она, взглянув на картинку, прочла как «фынарь». Но ликбез помог многим пожилым людям освоить грамоту: они стали сносно читать, писать и считать на бумаге.

За домами Карымовых и Лушниковых никаких строений не было: стояли «майские ворота», высокие и широкие, украшаемые к праздникам лозунгами и плакатами. Дальше – поле. И мигом, за три-пять лет, выросли корпуса средней школы – таких больших зданий в Кежме до них не было. Но судьба одного из них оказалась трагической.

Помню страшную картину: горе; верхний корпус. Такого пожара я не видел никогда – ни до, ни после. Было жутко. Огромнейшее пламя (сухое дерево), дым до небес, тьма снующих, бегающих людей с ведрами, лопатами, баграми, книгами, тетрадами, партами, рев пламени, треск дерева, истошные крики людей, охваченных паникой и горем. Помню, как натягивали брезент на крышу соседнего среднего корпуса, поливали его водой, чтобы она не вспыхнула, валил густой пар, сливаясь с дымом. Все смешалось. И в этом месиве делал что-то и я, пятиклассник, а скорее всего путался под ногами и тоже, как и другие ученики, плакал: мы учились в этом корпусе и оставались ни с чем.

Но этот корпус очень быстро выстроили вновь, и уже с широким коридором, как актовым залом, превращавшимся в спортзал во время показательных гимнастических выступлений. Я сам там делал под потолком сальто на кольцах.

Верхний корпус сгорел второй раз, и его уже не восстанавливали:

время созидания
уступило место разрушению.

3. Учителя

ПЕРВАЯ моя учительница – Мария Федотовна, добрая, заботливая, моя вторая мать. Давал же я ей забот и волнений! Вечно со мной что-то приключалось, а больше всего то, что я не мог и минуты просидеть за столом спокойно. «Шемела в ж...», как говорила мама. Большую часть урока я ёрзал на коленях, перескакивал с места на место, вертелся, разговаривал. Злого умысла никогда не было, а были легкомыслие и непоседливый характер. Мама и учительница почти ежедневно совещались то у нас дома, то в школе – все решали мою проблему: как меня вывести в люди, как сделать спокойным, усидчивым. Не знаю, сколько я ей крови перепортил, но времени у нее отнял предостаточно. Она действительно была учителем от Бога: и учила, и воспитывала искренне, заинтересованно, от всего своего золотого сердца. К сожалению, она учила меня всего два года.

В третьем классе начала учить Хинин Генриховна, которая и сплвила меня в ШКМ. Она каждому ученику в начало учебного года написала в тетрадях крупно, отчетливо свое имя, чтобы мы ненароком не выстроили за X что ни будь другое. Больше она ни чем не запомнилась.

Вальтер Альфредович, он же Федор Иванович, наш немец, жил в соседях, у Стрефилатковых – Быковых. У него были всегда мокрые губы.

Толстенная белая цепочка (а точнее – цепь) от часов украшала его грудь. Он много бился над тем, чтобы внушить нам, пятиклашкам, что «есть и разговаривать одновременно – нельзя: крошка хлеба может попасть в дыхательные пути» и... прочие страхи. А сам ходил по школе в измятом костюме, сопливил, харкал, высывая из рта содержимое, и неспешно вытирал рот и нос большим грязным носовым платком, вызывая у нас отвращение и брезгливость, хотя мы сами не отличались чистоплотностью. Человек в школе случайный: школьное образование развивалось стремительно, а специалистов не было, тем более в нашей глухомани. Вот и обращались к ссыльным. А их в Кежме хватало, и все грамотные. Учили по-разному: умело и неумело, с пользой и во вред, воспитывали в нужном тому времени духе и против ему. Уволили учительницу Новицкую (она утверждала на уроке, что Беломорский канал построили каторжане), Скрипченкову и делопроизводителя Арефьева. Тут, как сказал поэт, «ни убавить, ни прибавить».

Но были и свои, что творили в школе «чудеса». Сняли с работы в 1937 году жену директора школы Лушникову Антонину Филипповну за антипедагогические поступки: фотографирование ее учеником в полуобнаженном виде и в неприличной позе, обзывание учащихся («большеротый»), за отметки, поставленные не за знания, а за внешность: «Как Машукову Косте не поставить «отлично», он же сын служащего, прилично одевается и красивый, а Кокорину Тимофею – «посредственно», у него некрасивый вид». Всякое было. Культурная революция на селе шла так быстро, что не хватало не только учителей со специальным образованием, но и учебников и тетрадей. Я помню, что в шестом классе Степа Налим пользовался учебником алгебры стоимостью в 30 млн. рублей с гаком! Когда он был издан? Может быть, при Керенском?

Вместо обычных тетрадей нам приходилось писать грифелем на особых,

аспидных листах черного цвета, сшитых в виде тетрадей. Потому не хочу ни приукрашивать свое время, качество обучения, своих первых и далеких во времени педагогов..., ни изображать их сплошь неучами и бракоделами. Было немало прекрасных учителей, что оставили о себе добрую память и нестираемую благодарность на всю мою жизнь. Это были подвижники, несшие свет людям в таежные дали, в глушь, в затерянные в огромных просторах ангарские деревни, с запада, из-под Москвы и Ленинграда, Воронежа и, конечно, из Красноярска, где оставили привычную среду, родственников, друзей, театры и музеи. И первое место среди них в моей нестареющей памяти принадлежит Вере Антоновне Филиппович-Красивской, учительнице литературы и русского языка. Она в наших глазах – предел совершенства, идеал учителя. Не знаю, насколько она была красива, но обаятельна сверх всякой меры. Великодушна, добра, красноречива, с образной, и в то же время простой, мягкой и плавной, как музыка, речью, она завораживала нас. Идти к ней на урок неподготовленным было стыдно, настолько мы ее любили. Я всегда, с самого раннего детства, как только постиг грамоту, любил книги, много читал, а при ней чтение обрело какую-то системность, избирательность, большую осмысленность, я стал понимать не только сюжетные линии, но и красоту слова. Писал я всегда грамотно, но всегда грязно, чем ее огорчал: «Алеша, ты можешь учиться у меня на отлично – ты знаешь, умеешь, ну постарайся чисто написать хоть один раз». Но я ни разу не мог обойтись без кляксы или десять раз обведенной толстой чертой чудовищной буквы. Добрая, она даже за безошибочную работу не ставила мне «отлично» (или «оч. хор.») – так отвращала ее моя неряшливость. Но она не убивала безнадежностью, а давала перспективу. Было непонятно, как при таком страшном несчастье (сын-калека, а потом его гибель) она могла нам улыбаться. Видимо, в нас Вера Антоновна находила утешение. Очень стойка и терпелива. Я однажды защищал перед ней посредственную оценку своему брату за диктант, покрытый толстым слоем чернильной грязи, и она терпеливо выслушивала меня. На нас не повышала голоса, но никто на ее уроках не нарушал дисциплину, в крайнем случае ничего грубого не допускалось. Нет, никогда не уйдет из памяти ее светлый облик! Ее муж, Красивский Владислав Владимирович, тоже литератор, вел уроки легко, играючи, как артист. Курил на уроке большие папиросы, наверное, «Казбек». Сидел на подоконнике, играя полными губами, или ходил картинно около доски, высокий, стройный. То была счастливая жизнь! Любимая работа, почёт (директор школы!), высокая зарплата и прекрасная жена. А еще рядом Ангара – чистая, стремительная, сказочная – и с рыбой, а он молод и красив. Я помню его немного ироническую улыбку. Но он многое терял в моих глазах, когда весело смеялся, широко открыв рот: обнажались длинные прокуренные зубы. И когда морщился: зубы у него частенько болели. Помню его красную, карандашную, размашистую роспись – наискосок по расписанию, вывешенному в коридоре, как некий магический, полуцарский документ, который внушал обожание, к которому нельзя прикасаться, но который должно беспрекословно исполнять. А сам был прост в общении, в свободное время балагурил с нами, играл в волейбол. Однажды, по молодости, он играл с нами в бабки – «об стенку». Силы были явно неравны. У меня ладонь от ногтя большого пальца до безымянного – 23 см, у Вани Кутоли – 20, а у Владислава Владимировича – 26 (так измеряли расстояние от своей бабки до чужой:

если доставал ее – бабу «съедал», т. е. забирал себе). Выиграл, конечно, директор. Им восхищались и любили, его боялись и стеснялись. Он был прирожденным педагогом – ему ли надевать солдатскую шинель и воевать? А жизнь его закончилась где-то на фронтовых дорогах.

Хорошо сохранился в памяти Иван Николаевич Давыдов.

Он не учитель, а инженер. Вначале работал в МТС, а потом перешел на работу в школу: преподавал черчение, математику и физику – всего понемногу. Никаких методик он не знал, а вел урок как Бог на душу положит. Бывало, увязнет в каком-нибудь вопросе, и пол-урока пройдет без толку; спохватится, что время ушло, и так взвинтит темп урока, что не успеваешь что-нибудь схватить. А то ведет урок рассудительно и толково. Поставит кому-нибудь оценку «посредственно», а тот начинает ныть: «Ну почему «посредственно»? Можно и «хорошо» поставить». Начинаются торги. Наконец, учитель соглашается, ставит «хорошо» и тут же приговаривает: «Только не ной! Только не ной!». Как после этого не будешь «ныть»? Слабо отвечающей ученице всякий раз говорил: «Попрыгунья-стрекоза, стрекозунья-попрыга». Если кто-то оправдывался, ссылаясь на объективные причины, обязательно повторял: «Ничего не знаю, ничего не знаю» – в том смысле, что не хочу знать. Я однажды вспыхнул и ляпнул:

«Сами ничего не знаете, а нас спрашиваете». Конечно, из класса я вылетел, как пробка. Высокие слова, сложные научные термины он не знал или не хотел их употреблять, говорил просто и ясно. И мне открылась удивительная истина: и о высоком, сложном можно говорить просто и доступно.

Женился он на нашей сокласснице Нине Абрамовой – красивой, интеллигентной и нежной девушке – она и школу не окончила. А сам – коренастый, костистый, с крупными чертами лица, ноги почти колесом: Мы его звали между собой «семиколесным».

После войны я зашел к ним, что-то потянуло. Война разделила наши жизни на две части: до войны и после войны. Прошло два-три года, а нам казалось – полжизни, потому хотелось узнать, кто кем и каким стал.

Открыл дверь: в коридорчике на табуретках ванна с бельем – идет стирка, куча грязного белья на полу, и Нина, сама, как застиранная, очень бледная, неряшливая (стирка!), утомленная, и рядом девочка лет четырех, тоже очень бледная, вся просвеченная – сердце мое сжалось.

Сломал Нину Иван Николаевич и физически, и психически. Ушел я от них с тяжелым сердцем: было обидно, что такая неженка, такая умница, у которой виделось солнечное будущее, сразу попала в беспросветную мялку семейной жизни. А может быть, мне так показалось. Вскоре они из Кежмы уехали, уехал и я, больше их я не видел,

Особое место занимает в моей памяти Словацкий Виталий Николаевич, прекрасный математик, самый большой авторитет в этой специальности. Высокий, элегантный, безукоризненно одетый, он привлекал внимание строгим изяществом своих манер. Всегда чисто, до гладкой синевы, выбрит, красиво очерченные губы слегка влажны, как будто он только что хорошо пообедал, длинные пальцы ухоженных рук нет-нет да снимали с костюма невидимую нам пылинку.

Был строг во всем – в отношении к нам, ученикам, ко времени, отведенному на урок, к своей одежде и к внешнему виду учеников. Ни одной минуты на уроке не проходило впустую, объяснение логичное, четкое, все в системе: организация, опрос, объяснение. Знания давал

прочные; он добивался их и властью авторитета, и авторитетом власти. Но Виталий Николаевич не был ни учителем, ни воспитателем – в полном смысле этих слов. У него никогда не возникало желания помочь ученику, позаниматься со слабым, вести индивидуальную работу по освоению учениками своего предмета. Не было в нем, противу своей профессии, доброты, человеческого участия в наших судьбах. Более того, он позволял себе издеваться над учениками. Когда бедолага говорил у доски не то, что следует, он ехидно резюмировал: «Кума, ты глуха?» – «Купила петуха». Если тряпка случайно оказывалась на учительском столе, он брезгливо сбрасывал ее на пол кусочком мела или кончиком мизинца. Я увидел его через несколько лет после войны. Это был уже инвалид с тростью: без левой руки, с протезом вместо стопы, тоже левой. Но такой же гордый, смотревший свысока на окружающих, чистенький, хотя он уже давно не учитель, а сторож заготзерно.

Лушников Иван Феокистович не просто оригинал, это – легенда. Когда встречаешь кого-нибудь из его учеников 30-х годов и спрашиваешь его, помнит ли он Ивана Феокистовича, тот озаряется улыбкой, отвечая: «А как же?», и начинает вспоминать различные случаи, связанные с этим учителем.

Лицо И. Ф., оборудованное очками, и рассеянный ученый вид вовсе не отражали его сути. В сущности это был обыкновенный работяга; казалось, он не урок ведет, а ворочает мешки с зерном. Это – фанат педагогики, страстный проповедник, стремящийся вбить в голову каждого школьника все свои идеи, которые раздирали его череп, оратор даже в классной комнате. На уроках он не знал покоя и все силы тратил на то, чтоб и нам его не давать (но в этом его успехи были куда меньше). Он уже тогда, 60 лет назад, осуществлял так называемый проблемный метод в обучении. Урок ему всегда был тесен. Вот Иван Феокистович объявляет, что будем изучать стихотворение «Смерть поэта». Читает сам – пафосно и выразительно, а потом задает нам вопросы; «Что значит "невольник чести"», «Почему честь?», «Почему невольник?», «А как вы понимаете выражение «чуть затаившийся пожар»?», «Что за пожар?» и т. д. В общем, терзал нас весь урок. То же самое на уроках русского языка.

У него был свой классный журнал – толстая «общая» тетрадь, на развороте – список класса, справа колонки, получались клетки против каждой фамилии. В этих клетках он ставил оценки за ответы. Так он за урок ухитрялся поставить каждому ученику (а нас в классе человек 25) по три-четыре оценки! Вот это плотность урока!

Однако не всегда его слушали внимательно. Увлеченный своим делом, Иван Феокистович долго не замечал этого. Зато потом, когда шумок достигал его ушей, оскорбленный в своих лучших чувствах, полный гнева и благородного негодования, он взрывался и кричал на нас. Его бесформенные губы бледнели, а на дряблых щеках проступал румянец. Заканчивалась тирада о роли языка в обществе и в жизни каждого человека, о нашем долге и нашей совести торжественно и картаво: «Учитель – центральная фигура в классе!». Кого-то этим криком он от себя отталкивал, кого-то заряжал своей энергией, кому-то было стыдно, но и те, и другие, и третьи начинали шевелить мозгами. Коренной кежмарь, он один из первых учителей, если не первый, за свой труд в школах района был награжден орденом, а орденом Ленина – единственный.

Но самым талантливым и популярным из всех моих учителей был,

безусловно, Савватий Савватиевич Воронов.

В 30-е годы в школах района учителей-мужчин было много, не менее половины учительства. И он выделялся среди них не суровостью или твердостью характера, а мягкой интеллигентностью. Он не подавлял личность ученика, а покорял его бесконечной добротой, удивительной для села деликатностью, вежливостью, увлекал прекрасным знанием предмета и высоким мастерством литератора. Ему не требовалось повышать голос на нас (едва ли он был на это способен): его все слушали с интересом. Он и урок русского языка, обычно излишне академичный, нудноватый, делал увлекательным. Примеры с извечными не и ми, пре-, при-, придаточными предложениями и вводными словами он приводил не из учебника, а из жизни села, школы, класса и нас приучал к этому.

Помню, предложил он назвать другие слова по слову «лад», меняя только гласную. Мы быстро нашли «лёд», «люд», составили предложения, включая все три слова, потом появились слова «ляд» и «людно». Мне кажется, что он это делал для того, чтобы подчеркнуть: эти слова нелитературные.

А как интересно проходил урок литературы! Это был час красоты и поэзии. Как он читал вслух стихи! Вот учитель читает басню Крылова «Осел и Соловей»: весь подавшись вперед, наклонившись к нам, используя максимум мимики губ, глаз, рук и грассируя, произносит: «И мелкой дробью вдруг по роще рассыпался». Слова мы, кажется, ощущали на вкус и с удовольствием повторяли, находили и сами подбирали звукоподражательные сочетания. Я помню свое собственное, взятое из песни: «Шумел камыш, шуршали шибко лыжи». Шел по улице и бормотал, как безумный: «Шумел камыш», «Шуршали лыжи шибко».

Савватий Савватиевич (мы говорили: Сават Саватович) оценкой не наказывал, а поощрял. Однажды он вел урок физкультуры (кого-то, видимо, заменял). На шведской стенке моему брату удалось удержать ноги почти под прямым углом к отвесу. Это заметил С. С. и похвалил. С тех пор Толя любил это упражнение. Вывод: похвала более эффективна, чем порицание.

Он дружил с нами, ходили мы вместе летом в лес, зимой катались на лыжах и т. д. Он советовался с нами, не считая зазорным извиниться перед нами, и мы вырастали в собственных глазах, обретали уверенность, смело отвечали и задавали вопросы. Позднее убедились: сознание собственной значимости делает человека свободным, недооценка – закрепощенным, а переоценка – делает его смешным.

После него пришла какая-то серая, незаметная личность, от которой в памяти ничего не осталось. Поистине: мы долго помним только тех, кого любим или ненавидим.

Его любили все: и дети, и взрослые. Последние и губили его, любя: хотелось проявить уважение, угостить, а где угощение, там и вино. Выпивал он часто и попадал, бывало, в неприятные истории, но, как ни странно, всегда оставался тогда и остается сейчас Святым для нас человеком, человеком неподдельной красоты и благородства.

А. КАРНАУХОВ.

СП № 64, 65, 67, 68.1998.